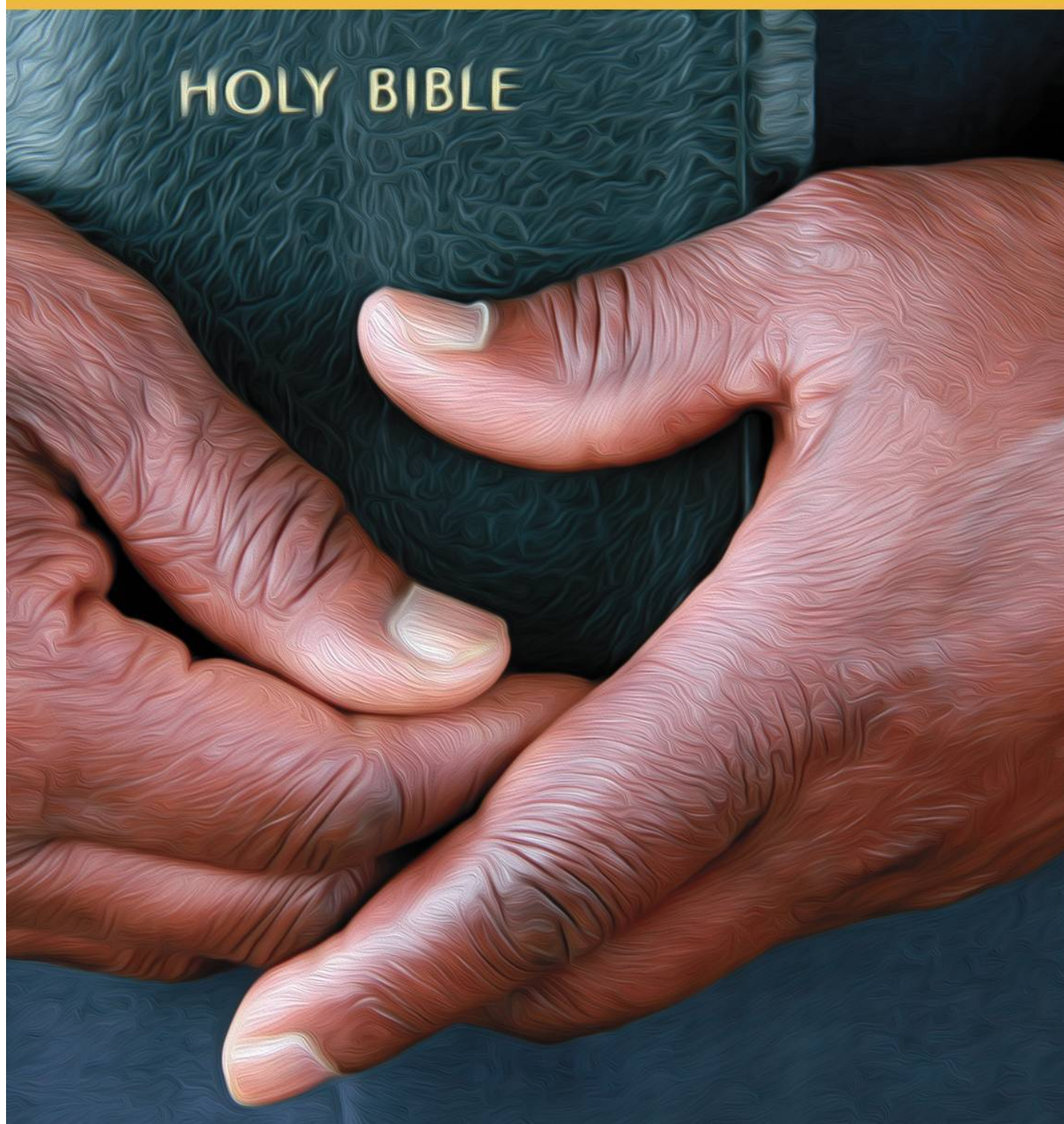


Джеймс
Болдуин



Иди, вещай с горы



XX век / XXI век – The Best

Джеймс Болдуин
Иди, вещай с горы

«Издательство АСТ»

1953

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

Болдуин Д. А.

Иди, вещай с горы / Д. А. Болдуин — «Издательство АСТ»,
1953 — (XX век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-116126-2

Три молитвы. Три исповеди. Три взгляда на историю афроамериканской семьи – долгую и непростую историю, которая начинается в годы войны Севера и Юга и тянется до 30-х годов XX столетия. Три отчаянных, надрывающих сердце крика – в небеса и в глубины собственной души. Яростно взывает к Господу чернокожий проповедник, изнемогающий под тяжестью давнего греха. Горестно стелет его сестра – невольная участница далекой драмы. Отчаянно спорит с жестокостью суда людского и Божьего жена священника – мать его пасынка Джона, прошлое которой скрывает собственную трагедию. А что же сам юный Джон? Он еще только готовится обрести собственный голос. Собственный взгляд на прошлое, настоящее и будущее, на земное и небесное, грешное и святое. О чем станет молиться Господу Джон? И чьи молитвы услышит Господь?

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-116126-2

© Болдуин Д. А., 1953

© Издательство АСТ, 1953

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Джеймс Болдуин

Иди, вещай с горы

James Baldwin

GO TELL IT ON THE MOUNTAIN

Печатается с разрешения James Baldwin Estate.

© James Baldwin, 1952, 1953. Copyright renewed.

© Перевод. В. Бернацкая, 2020

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Джеймс Артур Болдуин (1924–1987) – один из самых значительных американских писателей XX века, глубокий и талантливый мастер психологического реализма. Бедняки, нищие художники из богемных кварталов, обитатели городских гетто – вот те, кому Болдуин не побоялся дать голос в своих замечательных произведениях, и голос этих обездоленных или порвавших с обществом людей зазвучал в них с необычайной силой и мощью.

* * *

Первый роман Джеймса Болдуина, в одночасье превративший молодого начинающего писателя в одну из самых знаковых фигур современной ему американской литературы. Эффектный по композиции и оригинальный по стилю роман, объединяющий мотивы семейной саги и религиозной притчи.

* * *

Матери и отцу

Часть первая ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

*«И дух и невеста говорят: приходи!
И слышавший да скажет: приходи!
И жаждущий пусть приходит,
И желающий пусть берет воду жизни даром¹*

*Я бросил взгляд в будущее
И изумился».*

Все говорили, что Джон, когда вырастет, тоже будет проповедником, как и отец. Это повторяли настолько часто, что Джон и сам привык так считать. Он не задумывался об этом до того дня, когда ему исполнилось четырнадцать, но тогда уже было поздно что-либо менять.

Его ранние воспоминания – можно сказать, и единственные – были связаны с веселой суматохой воскресного утра. В этот день все вставали в одно время. Отец, которому не надо было идти на работу, молился с ними до завтрака. Мать одевалась особенно нарядно и с распрямленными волосами выглядела почти молодой, на голове у нее плотно сидел белый чепец – обязательный атрибут для набожных женщин. Младший брат Рой был непривычно притихшим в присутствии главы семейства. Сара, любимица отца, вплетала в волосы алую ленту. Малышку Руфь в бело-розовом платьице мать несла в церковь на руках.

Церковь находилась недалеко – в четырех кварталах от них, на углу Ленокс-авеню, почти рядом с больницей. Именно в этой больнице мать родила Роя, Сару и Руфь. Джон плохо помнил время, когда мать впервые отправилась туда. Рассказывали, что он плакал постоянно, пока она отсутствовала, и с тех пор всякий раз, когда мать начинала раздаваться в талии, его охватывал ужас. Джон знал: дело закончится тем, что ее увезут и она вернется с очередным ребенком. Да и сама мать с каждой такой отлучкой словно отдалялась от него. По словам Роя, скоро ей опять придется уехать – а он в таких вопросах разбирался лучше старшего брата. Джон внимательно присмотрелся к матери, но перемен не заметил, хотя услышал, как отец во время утренней молитвы упомянул о «маленьком путешественнике, который скоро прибьется к их семье». Тогда он понял, что Рой не ошибся.

С тех пор как Джон себя помнил, каждое воскресное утро семейство Граймс выходило из дома и шествовало в церковь. С обеих сторон улицы на них взирали грешники – мужчины с тусклыми глазами и серыми лицами, в субботней одежде, успевшей за день испачкаться и помяться; и громогласные женщины в ярких, в обтяжку, платьях с сигаретами, торчавшими между пальцами или из уголков рта. Они болтали, смеялись либо колошматили друг друга, причем женщины не уступали в драках мужчинам. Проходя мимо, Джон и Рой обменивались многозначительными взглядами: Джон – смущенно, а Рой – озорно. Если Господь не поможет, Рой, когда вырастет, станет таким же, как они. Мужчины и женщины, которых они видели в воскресное утро, провели предыдущий вечер в барах или борделях, на улицах или на крышах, а то и под лестницей. Они напивались допьяна. Легко переходили от ругани к веселью, от гнева к похоти. Однажды они с Роем заметили в подвале полуразрушенного дома мужчину и женщину. Они занимались *этим* стоя. Потом женщина потребовала пятьдесят центов, и тогда в руках у мужчины сверкнула бритва.

¹ Откровение Святого Иоанна Богослова. 22:17. – Здесь и далее примеч. пер.

Джон сильно испугался и постарался никогда больше там не появляться и подобного не видеть. А вот Рой наблюдал – и не раз, и даже рассказывал Джону, что сам проделывал такие штуки с девчонками из соседнего квартала.

Мать с отцом, посещавшие по воскресеньям церковь, тоже этим занимались, и Джон порой слышал в спальне за стенкой их возню – шум смешивался с копошением и писком крыс, а также с музыкой и проклятиями, доносившимися снизу из борделя.

Их церковь – Храм Крещения Огнем – не была самой крупной в Гарлеме, но и малочисленной ее не назовешь. Джона приучили верить, что лучше и благодатней ее не бывает. Отец был там старшим преподобным – одним из двух. Второй – преподобный Бретуайт, тучный чернокожий, собирал денежные взносы и иногда читал проповеди. Пастор, отец Джеймс, добродушный толстяк с лицом круглым, как черная луна, проводил службы на Пятидесятницу, пробуждал религиозные чувства верующих в летних воскресных классах, совершал миропомазания и лечил больных.

По воскресеньям на утренних и вечерних службах церковь была заполнена, а в праздники прихожане вообще толпились там целый день. Семейство Граймс являлось в полном составе, всегда чуть позднее, обычно в середине воскресной школы, которая начиналась в девять часов. Виновницей опозданий всегда была мать – так, во всяком случае, считал отец; ей никак не удавалось вовремя собрать детей и привести в порядок себя. Случалось, Граймсы, вообще, приходили только к заутрене. Войдя в церковь, они разделялись: отец с матерью садились на места для взрослых – там занятия вела сестра Маккендлес; Сара шла в класс для малышей, а Джон и Рой присоединялись к подросткам, которых наставлял брат Илайша.

В младшем возрасте Джон не выказывал большого прилежания в воскресной школе и часто многое забывал из Священного текста, что вызывало у отца гнев. К четырнадцати годам, когда семья и школа дружно подталкивали его к алтарю, он старался быть серьезнее и тем самым меньше бросаться в глаза. Однако Джона смущал новый учитель – Илайша, племянник пастора, недавно приехавший из Джорджии. Ему было всего семнадцать лет – немногим больше, чем Джону, но он уже «спас» душу и стал проповедником. На уроках Джон не спускал с Илайши глаз: он восхищался тембром его голоса, более глубоким и мужественным, чем у него самого; любовался, как тот выглядит в воскресном костюме – стройный, изящный, сильный, с очень темной кожей. Интересно, станет ли Джон когда-нибудь таким же праведным, как Илайша? Из-за этих мыслей он плохо следил за уроком и, когда Илайша вдруг задавал ему вопрос, терялся, путаясь и чувствуя, как увлажняются руки, а сердце начинает биться с удвоенной силой. Илайша улыбался, мягко укорял ученика и продолжал рассказ.

Рой тоже никогда толком не знал урока, но с ним дело обстояло иначе – никто не ждал от него того же, что от Джона. О Рое молились, чтобы Бог вразумил его, а вот от Джона ожидали многого.

После воскресной школы перед заутреней устраивали небольшой перерыв. Если погода была теплая, пожилые люди дружно выходили на улицу, чтобы перекинуться парой слов друг с другом. Женщины почти всегда были во всем белом. Маленькие дети, наставляемые старшими, изо всех сил старались вести себя в этот день хорошо, чтобы не выказать неуважения к Божьему храму. Но порой срывались – из упрямства, или нервы не выдерживали, – тогда они начинали кричать или плакать и бросаться друг в друга сборниками церковных гимнов. В этом случае прихожане прибегали к мерам – строгим или не очень, в зависимости от того, как было принято в общине. Дети постарше, вроде Джона и Роя, слонялись по улице, однако далеко от церкви не отходили. Отец не выпускал сыновей из поля зрения, зная, что Рой частенько исчезает после воскресной школы, и тогда ищи его свищи.

Воскресная утренняя служба началась с того, что брат Илайша сел за пианино и заиграл гимн. Джону казалось, будто эта музыка вошла в него при рождении, с первым вдохом. В нем всегда жил этот момент ожидания... Вот паства замирает в предчувствии гимна – сестры в

белом и братья в синем поднимают и запрокидывают головы; белые чепцы женщин светятся коронами в наэлектризованной атмосфере; мерцают курчавые головы экзальтированных мужчин; прекращаются шелест и шепот; дети тоже замолкают. Разве кто-нибудь кашляет, или с улицы донесется звук клаксона, а то и смачное ругательство. Но вот Илайша ударяет по клавишам и запекает, прихожане подхватывают гимн, хлопают в ладоши, встают с мест и бьют в барабаны.

«Припав к кресту, где распят Спаситель!» – могут они петь.

Или: «Иисус, я никогда не забуду, как ты освободил меня!»

Или: «Боже, поддержи меня, пока я бегу!»

Люди пели во весь голос и хлопали от радости в ладоши. Джон с изумлением и ужасом следил за их буйным весельем. Такое пение заставляло верить, что Бог находится среди них. И дело было уже не в вере – они делали Его присутствие реальным. Сам Джон не испытывал их восторга, однако не сомневался, что остальные переживают духовное просветление. Что-то происходило с лицами и голосами верующих, ритмичным движением тел, с самым дыханием; они словно были уже на небесах, там, где парит Дух Святой. Грозное лицо отца становилось еще страшнее, обычное раздражение превращалось в гнев пророка. Воздетые к небу глаза матери, простертые в движении руки оживляли для Джона то, о чем он читал в Библии и что не мог представить воочию: терпение, стойкость, долгое мучительное страдание.

Воскресным утром все женщины казались терпеливыми, а мужчины – могучими. Джон ждал, когда на кого-нибудь снизойдет Дух... И вот раздался крик, долгий, бессловесный, руки просветленного раскинулись, как крылья, и начался танец. Кто-то отодвинул скамьи, освобождая место, стихло пение, барабаны не отбивали больше ритм, слышались только дробь подошв и хлопки ладоней. Потом раздался другой крик, в круг вошел еще один танцор, и тут вновь вступили барабаны, и началось пение. Музыка врывалась внутрь, подобно огню, наводнению или Суду Божьему. Церковь как бы покачивалась, подобно планете в космосе. Джон смотрел на лица прихожан, на ставшие будто невесомыми тела и слушал непрекращающиеся крики. Ему говорили, что когда-нибудь и на него снизойдет Дух и он тоже будет петь и кричать, как они сейчас, и танцевать перед Богом. Джон видел, как юная Элла-Мэй Вашингтон, семнадцатилетняя внучка благочестивой матушки Вашингтон, вошла в круг и принялась танцевать. А за ней поднялся и Илайша.

В какой-то момент он сел за пианино, стал играть и петь – голова запрокинута, глаза закрыты, пот выступил на лбу, но вдруг напрягся, по телу прокатилась дрожь, и из глубины его существа вырвался крик: «Иисус! Иисус! О, Господь мой!»

Илайша в последний раз ударил по клавишам, инструмент издал какой-то первобытный, дикий звук, юноша поднял руки ладонями вперед и развел их в стороны. Стук барабанов мгновенно заполнил пустоту, а крик Илайши подхватили другие прихожане. Поднявшись, он повернулся, искажившееся лицо налилось гневом, мускулы заиграли на длинной темной шее. Казалось, Илайша не мог дышать от вошедшей в него страстной силы и – как знать! – мог просто раствориться в наэлектризованном воздухе. Напряженные до кончиков пальцев негнущиеся руки задвигались по бедрам, и он начал танцевать, устремив ввысь невидящий взгляд. Затем его руки сжались в кулаки, голова упала на грудь, а пот смешался с жиром на волосах. Илайша задал такой темп, что другим пришлось ускорить свой; его бедра бешено ходили под одеждой, каблуки отбивали ритм, а кулаки металась вдоль тела, будто он играл на барабане. Посреди кружившихся в танце прихожан Илайша, опустив голову, молотил кулаками по призрачному барабану, все быстрее и быстрее, это было уже невыносимо, казалось, стены сейчас рухнут, а потом вдруг с криком поднял голову, взметнул высоко руки, с лица его тек пот, однако тело продолжало танцевать, и конца этому не было. Он не останавливался, пока не упал, не рухнул, как животное от удара молотом, с выражением муки на лице. И долгий стон прокатился по храму...

В их церковь проник грех. Однажды утром после окончания службы отец Джеймс снял покров с этого греха перед паствой. Согрешили Илайша и Элла-Мэй. Ступили на «путь неправедный», и существовала опасность, что они отойдут от истины. самого страшного они пока не совершили, говорил отец Джеймс, нельзя срывать незрелый плод с дерева раньше времени – можно набить оскомину. Сидя на своем месте, Джон испытывал головокружение от его слов и не мог посмотреть на Илайшу и Эллу-Мэй, находившихся около алтаря. Все время, пока говорил отец Джеймс, присутствующие в церкви перешептывались, а Илайша стоял, опустив голову. И Элла-Мэй не была такой красивой, как раньше, когда пела, и на нее нисходил Дух. Теперь она выглядела обычной, испуганной девочкой. Губы распухли, глаза потемнели – от стыда или злости, или от того и другого. Бабушка, которая ее воспитала, сидела, сложив на коленях руки, и внимательно слушала пастора. Она являлась одним из столпов церкви, известной евангелисткой. Ни слова не произнесла в защиту внучки, понимая, как и остальные верующие, что отец Джеймс лишь исполняет свой прямой и тягостный долг: он несет ответственность за Илайшу, как матушка Вашингтон – за Эллу-Мэй.

Трудно, говорил отец Джеймс, управлять паствой. Легче было бы просто стоять за кафедрой день за днем, год за годом, но нельзя забывать об огромной ответственности, возложенной на него Всемогущим Богом – ведь наступит день, когда ему придется давать ответ за каждую душу в этой общине. И если они думают, будто он слишком суров, то пусть вспомнят, что суров Завет и тернист путь к истинному благочестию. В армии Бога нет места трусливому сердцу, и тот, кто считает, что мать или отец, сестра или брат, любимый или друг может не исполнять волю Бога, не удостоится венца праведника. Давайте все дружно провозгласим: «Аминь!» И тогда все дружно воскликнули: «Аминь!»

«Бог захотел, – сказал отец Джеймс, глядя на юношу и девушку, – чтобы я при всех наставлял их, пока не слишком поздно. Он понимает, что они хорошие молодые люди и искренне служат Богу, просто не знают, как хитроумно сатана расставляет ловушки неопытным душам. Бог видит: у юноши и девушки нет греховных мыслей – пока нет, однако грех уже проник в их плоть, и если они продолжают прогулки вдвоем, будут хихикать и держаться за руки, то непременно согрешат».

«Интересно, – размышлял Джон, – что думает об этом Илайша – такой высокий, красивый, талантливый баскетболист, «спасенный» в одиннадцать лет на необозримых просторах Юга? Согрешил ли он? Подвергся ли искушению? А находившаяся рядом с ним девушка, чья одежда теперь будто нарочно подчеркивала юные груди и изящный изгиб бедер, – какое лицо было у нее, когда она оставалась наедине с Илайшей и рядом не было поющих и танцующих прихожан?» Хотя ему было страшно это представить, ни о чем другом он думать не мог – в нем начинало бурлить то греховное чувство, из-за которого они стояли перед алтарем.

После этого воскресенья Илайша и Мэй больше не встречались, не проводили время вдвоем каждый день после школы, гуляя в Центральном парке или лежа на пляже. Все это для них закончилось. Теперь они могли появиться вместе только на свадьбе. А там нарожают детишек и станут воспитывать их в лоне церкви.

Вот что подразумевалось под праведной жизнью, вот чего требовал Бог. Вероятно, именно в это воскресенье, незадолго до своего дня рождения, Джон впервые осознал, что такая жизнь ожидает и его – она совсем близко и становится все ближе.

В 1935 году день рождения Джона пришелся на мартовскую субботу. Утром он проснулся с четким ощущением нависшей над ним угрозы и мыслью, что произошло нечто непоправимое. Джон уставился на желтое пятно на потолке – точно над его головой. Рой спал, зарывшись носом в подушку, дыхание брата сопровождалось тихим посвистыванием. Никаких других звуков не было, никто в доме еще не проснулся. У соседей молчало радио, и мать не встала, чтобы приготовить завтрак отцу. Джон не понимал, откуда в нем эта паника, потом задумался, кото-

рый сейчас час, и лишь тогда (тем временем желтое пятно на потолке приняло форму обнаженной женщины) сообразил, что сегодня ему исполняется четырнадцать лет и он впал в грех.

Тем не менее первой мыслью было: «А кто-нибудь об этом вспомнит?» Случалось, что о его дне рождения забывали, никто не поздравлял и не дарил подарков – даже мама.

Рой зашевелился, и Джон слегка оттолкнул его. Все молчало вокруг. Обычно при пробуждении он слышал, как мать поет в кухне, отец, одеваясь, бормочет слова молитвы, иногда доносилось щебетание Сары или плач Руфи, а то и звуки радио, грохот кастрюлек и сковородок, голоса соседей. Но этим утром даже скрип пружинных матрасов не нарушал тишины, и Джону оставалось лишь мысленно выносить себе приговор. Он почти верил, что проснулся в такой важный день слишком поздно и все спасенные, преобразившись, уже приветствуют Иисуса, он же обречен пребывать в своем грешном теле тысячи лет в преисподней.

Джон согрешил. Несмотря на наставления преподобных отцов и родителей, которые слышал с малых лет, он совершил вот этими руками грех, и его трудно простить. Оставшись один в школьном туалете, Джон думал о других мальчиках – старше, выше ростом, смелее его, они спорили между собой, чья струя длиннее, и вдруг увидел в себе такие изменения, о каких не осмелится никому рассказать.

Черный грех Джона был сродни мраку, окутывающему церковь в субботние вечера, сродни тишине, когда он оставался в ней один, подметал пол и наливал воду в большое ведро задолго до того, как собирались верующие. Грех был сродни мыслям в храме, где протекала его жизнь, – Джон ненавидел это место и в то же время любил и боялся. Был сродни ругательствам Роя, отзывавшимся в нем эхом. В те редкие субботние дни, когда брат приходил помочь с уборкой, он грязно ругался в Божьем доме и делал неприличные жесты перед лицом Иисуса. Да, все это являлось грехом, о нем напоминали и стены храма с цитатами из божественных книг, в них говорилось, что плата за грех – смерть. Чернота греха заключалась в жестокосердии, с которым он противился Божьей воле, в презрении, какое часто испытывал, слыша рвущие душу вопли верующих и глядя на их потные черные лица, когда они вздевали вверх руки и падали на колени. Но Джон принял решение. Он не станет таким, как отец или его предки. У него будет иная жизнь.

Джон отлично успевал в школе (хотя в математике и баскетболе Илайша превосходил его), и ему прочили блестящее будущее. Он мог стать великим вождем своего народа. Но Джон не особенно интересовался своим народом и тем более никуда не собирался его вести. Однако эта часто повторяющаяся фраза вызвала в нем представление о широких латунных воротах, которые откроют ему путь в мир, где люди не живут в темноте отцовского дома, не молятся Иисусу во мраке церкви. Там он будет есть вкусную пищу, носить красивую одежду и ходить в кино так часто, как пожелает. В этом мире Джон, которого отец звал уродцем, самый маленький по росту в классе и не имевший друзей, станет, как по мановению волшебной палочки, высоким красавцем, с которым все захотят дружить. Люди будут из кожи вон лезть, только чтобы познакомиться с Джоном Граймсом. Он будет поэтом, или президентом студенческого общества, или кинозвездой, начнет пить дорогой виски и курить «Лаки Страйк» – сигареты в зеленой пачке.

Не только цветные хвалили Джона за успехи, да они и не могли, по его мнению, полностью их оценить. Джона хвалили и белые – и раньше, и теперь. На него обратили внимание в первом классе, когда ему было пять лет, и поскольку оценка исходила от чужого человека и была объективной, он впервые с беспокойством подумал о себе как о личности.

В тот день в классе учили алфавит, и к доске вызвали шестерых школьников, предложив написать буквы, которые они запомнили. Дети закончили писать, и, когда они ждали оценки учителя, дверь открылась, и в класс вошла директриса, которую боялись, как огня. Никто не двинулся, все молчали. В тишине раздался ее голос: «Это кто написал?»

Директриса показывала на буквы, начертанные на доске Джоном. Мальчику даже в голову не пришло, что он мог удостоиться такого внимания, и потому просто уставился на директрису. Потом по реакции других детей, избегавших смотреть на него, он решил, что сейчас его накажут.

– Скажи, Джон, – мягко проговорила учительница.

Еле сдерживая слезы, он пробормотал свое имя. Седовласая директриса, женщина с жестким выражением лица, смерила его взглядом.

– Ты смывленный мальчик, Джон Граймс, – проговорила она. – Старайся и дальше хорошо учиться. – И директриса покинула класс.

Этот момент подарил ему если не оружие, то хотя бы щит. Джон вдруг понял, что обладает силой, какой нет у других, и он может использовать ее, чтобы защитить или возвысить себя. Вероятно, эта сила поможет в будущем обрести любовь, которой ему так не хватало. Это была не вера, ведущая к смерти или перерождению, и не надежда, которая может оставить тебя. Это была личность Джона, включавшая в себя зло, за которое отец бил его и с которым он не хотел расставаться, потому что в этом противостоял отцу. Рука отца, поднимаясь и опускаясь, могла заставить Джона плакать, голос ввергал в трепет, и все же отец не мог одержать над ним полную победу, поскольку Джон обладал тем, чего никогда не было и не будет у него. Он дожидался дня, когда отец будет умирать, и он, Джон, проклянет его перед смертью. Хотя он родился в христианской семье и всю жизнь провел в окружении верующих, слыша молитвы и ликующие откровения, а храм, где молилась семья, был для него реальнее всех тех жалких домов, где они жили, сердце Джона ожесточилось против Бога. Отец был служителем Божиим, представителем Царя Небесного, и, значит, Джон не мог преклонить колена перед Его престолом, не поклонившись прежде отцу. Но, сделав это, он отказался бы от себя, и потому в глубине души пестовал свой грех, пока однажды тот не прорвался наружу.

Блуждая среди всех этих открытий, Джон снова заснул, а когда проснулся и встал, отец уже ушел на фабрику, где трудился до середины дня. Рой торчал в кухне, переругиваясь с матерью. Малышка Руфь, сидя на высоком стульчике, колотила по подносу ложкой в овсянке. Это свидетельствовало о том, что сестра в хорошем настроении и не проведет день в постоянном хныканье безо всяких причин – тогда она подпускала к себе только мать. Сара была непривычно тихой, не трещала, как обычно, во всяком случае, пока. Она стояла у плиты со сложенными на груди руками и угрюмо смотрела на Роя черными глазами – глазами отца, из-за чего выглядела старше.

Мать, чья голова была обмотана старой тряпкой, пила маленькими глотками черный кофе и следила за Роем. Бледные солнечные лучи, которые бывают обычно в конце зимы, окрасили желтоватым цветом их лица. Заспанный и недовольный Джон не мог понять, как случилось, что он снова заснул и его не разбудили. Фигуры родных казались ему силуэтами на экране – это впечатление усиливалось желтым светом. Кухня была узкая и грязная, увеличить ее было нельзя, тщательно отчистить – тоже, не хватило бы никаких сил. Грязь впиталась в стены и половицы, особенно много ее было за раковиной, где в большом количестве жили и размножались тараканы. Не обошла она кастрюли и сковородки, хотя их чистили ежедневно, они так и висели над плитой с закопченными дочерна днищами. На стене напротив плиты облупилась краска, оставив пустые места, которые затянулись грязью. Грязь была в каждом уголке, в каждой трещинке уродливой плиты, а также за ней. Грязь была и на плитусах, которые Джон скреб каждую субботу, она оседала в буфете, где поблескивала потрескавшаяся посуда. Под тяжестью грязи будто покосились стены и провис потолок, по нему, словно молнией, прочертилась трещина. Окна блестели, как чеканное золото или серебро, но сейчас при бледно-желтом свете Джон увидел, как пыль тонким слоем покрыла их сомнительную красоту. Грязь въелась

в серую швабру, которую повесили сушиться за окном. Испытывая стыд и ужас, Джон тем не менее думал в приступе ожесточившегося сердца: «Нечистый пусть еще сквернится!»²

Потом Джон взглянул на мать, увидев ее как бы со стороны. Глубокие морщины изобразили лицо – брови постоянно нахмурены, губы плотно сжаты, уголки опущены. Он заметил сильные, худые, черные руки, и его мысли обратились против него самого, как палка о двух концах: кто грязен, если не он в своей гордыне и злобе? Сквозь подступившие к глазам слезы Джон смотрел на залитую грязно-желтым светом комнату, но неожиданно она изменилась, солнечный свет смягчился, а лицо матери стало другим. Такой он видел ее в своих снах, такой была она на фотографии, давным-давно – снимок был сделан еще до его рождения. Лицо матери там было молодым и гордым, она задорно смотрела вверх, улыбка делала крупный рот прекрасным, а глаза сияющими. Это было лицо девушки, уверенной в том, что с ней не случится ничего плохого, и она смеялась так, как мать уже не могла. Темнота и тайна разделяли эти лица, они пугали Джона, но почему-то заставляли ненавидеть мать.

Наконец она заметила его и спросила, оборвав разговор с Роем:

– Есть хочешь, соня?

– Наконец-то появился! Не прошло и ста лет! – воскликнула Сара.

Джон подошел к столу и сел. Паника не оставляла его: ему нужно было до всего дотронуться – до стола, стульев, стен, чтобы убедиться: комната существует и он в ней находится. Джон не смотрел на мать, которая тем временем встала и приблизилась к плите, чтобы разогреть ему завтрак. Однако задал ей вопрос – скорее, для того, чтобы услышать собственный голос:

– А что у нас на завтрак?

И со стыдом понял, что в душе надеялся: в день рождения ему обязательно приготовят что-нибудь особенное.

– А как ты сам думаешь? – презрительно усмехнулся Рой. – У тебя есть какие-то пожелания?

Джон посмотрел на брата. Тот был явно не в духе.

– Я не с тобой говорил, – сказал Джон.

– Ах, простите. – Рой произнес эти слова визгливым, капризным тоном маленькой девочки, зная, как это противно Джону.

– Какая муха тебя укусила? Что это с тобой? – спросил с раздражением Джон, стараясь, чтобы его голос звучал как можно грубее.

– Не обращай внимания на Роя, – посоветовала мать. – Сегодня он не в духе.

– Да уж вижу, – отозвался Джон. Братья обменялись взглядами.

Мать поставила перед Джоном тарелку с мамалыгой и ломтиком бекона. Ему хотелось закричать: «Мама, сегодня ведь мой день рождения!» Но он перевел взгляд на тарелку и стал есть.

– Ты можешь говорить об отце, что хочешь, – добавила мать, продолжая перепалку с Роем, – только не повторяй, что он не старается изо всех сил, чтобы ты никогда не был голодным.

– Да я сотни раз был голодным, – заявил Рой, гордясь тем, что одержал верх над матерью.

– То была не его вина. Отец всегда хотел, чтобы у тебя был кусок хлеба. Он разгребал снег при нулевой температуре, когда должен был спать. И все для того, чтобы твой живот не был пустым.

– Не только у меня есть живот, – возмущенно проговорил Рой. – У него тоже есть живот. Стыдно столько есть. А снег разгребать я не просил. – Рой опустил голову, чувствуя, что аргументация у него слабовата. – Я просто не хочу, чтобы меня постоянно лупили. Я ему не собака.

² Откровение Святого Иоанна Богослова. 22:11.

Мать тихо вздохнула и отвернулась к окну.

– Отец бьет тебя, потому что любит, – сказала она.

Рой засмеялся.

– Не понимаю я такой любви. А что он делал бы, если бы меня не любил?

– Да пустил бы на все четыре стороны! Прямо в ад, куда ты, похоже, и сам рвешься. Что ж, в путь, мистер! Дожидайся, пока в тебя нож не всадят или в тюрьму не угодишь.

– Мама, а папа хороший человек? – вдруг спросил Джон.

Вопрос вырвался у него неожиданно, и он с удивлением заметил, что мать поджала губы, а глаза у нее потемнели.

– Тут и спрашивать нечего, – мягко ответила она. – Ты знаешь кого-нибудь лучше?

– По-моему, папа очень хороший человек, – произнесла Сара. – Он постоянно молится.

– Вы еще слишком малы, – продолжила мать, не обращая внимания на слова дочери, и снова села. А потому не понимаете, как вам повезло, что у вас такой отец. Он заботится о вас и старается, что вы были честными людьми.

– Да, мы не понимаем, – кивнул Рой, – что нам повезло, если наш отец не разрешает нам ходить в кино, играть на улице и дружить с другими ребятами. Не разрешает вообще ничего. Нам повезло: ведь отец хочет, чтобы мы только ходили в церковь, читали Библию, прыгали, как дураки, перед алтарем, а дома сидели чистенькие и тихие, как мышки. Да уж, нам повезло. Даже не знаю, за что мне такое счастье!

Мать рассмеялась:

– Когда-нибудь поймешь. Запомни мои слова.

– Ладно.

– Но будет слишком поздно, – продолжала мать. – Будет слишком поздно... когда ты поймешь. – Голос ее дрогнул.

На мгновение глаза Джона перехватили взгляд матери, и он испугался. Джон понимал, что мать произнесла эти слова не просто так: Бог почему-то иногда говорит устами людей, и на сей раз Он обратился именно к нему, Джону. Ему исполнилось четырнадцать лет – может, уже поздно? Беспокойство усиливалось догадкой – и в этот момент Джону стало ясно: это и раньше приходило ему в голову, – что мать чего-то не договаривает. Интересно, о чем они беседовали с тетей Флоренс? Или с отцом? О чем она действительно думала? По ее лицу определить было нельзя. Но сейчас, когда их глаза встретились, взгляд матери приоткрыл тайну. Ее мысли были горькими.

– А мне наплевать, – заявил Рой, вставая. – Когда у меня появятся дети, я не стану их третировать. – Джон посмотрел на мать, она не спускала глаз с Роя. – Уверен, так нельзя. И полный дом детей нельзя заводить, если не знаешь, что с ними делать.

– Что-то ты сегодня умен не по годам, – усмехнулась мать. – Поостерегись.

– И вот еще объясни мне, – продолжил Рой, неожиданно склонившись над матерью, – почему я не могу говорить с ним так, как с тобой? Ведь он мой отец. Но он никогда не слушает меня, а вот я должен его слушать.

– Твой отец лучше знает. Обещаю, если будешь его слушать, не закончишь свои дни в тюрьме.

Рой яростно закусил губу.

– Не собираюсь я ни в какую тюрьму! Неужели на свете нет ничего иного, кроме тюрем и церквей? Думай, ма, что говоришь!

– Человек только тогда в безопасности, когда смиряется перед Господом, – сказала мать. – Когда-нибудь ты это поймешь. А так живи, как знаешь. Но как бы потом не заплакать.

Неожиданно Рой расплылся в улыбке:

– Но ты ведь не бросишь меня, ма, когда я попаду в беду, правда?

– Никто не знает, сколько ему отпущено лет, – сказала мать, пряча улыбку. – Только Господь.

Рой повернулся, пританцовывая.

– Это хорошо! – весело воскликнул он. – Господь не такой злой, как отец. Правда, братишка? – обратился Рой к Джону и слегка хлопнул брата по лбу.

– Слышь, ты, дай мне спокойно позавтракать, – пробормотал Джон, хотя его тарелка давно опустела. Но было приятно, что Рой заговорил с ним.

– Да он просто псих! – Сара отважилась вставить реплику.

– Нет, вы только послушайте эту святошу! – вскричал Рой. – Вот с ней у отца никогда не возникнет проблем. Она уже родилась такой. Клянусь, первое, что она сказала, было: «Благодарю, Иисус». Разве не так, ма?

– Прекрати дурачиться, – улыбнулась мать, – и займись делом. Никто не собирается все утро валять с тобой дурака.

– Значит, у тебя есть для меня работенка? Тогда так и скажи, чего ты от меня хочешь?

– Нужно кое-что починить в столовой. Пока все не сделаешь, из дома – ни ногой.

– А вот этого могла бы не говорить, ма. Разве я отказываюсь? Сама знаешь, как хорошо я работаю. А позднее можно уйти?

– Иди и трудись, а потом посмотрим. И сделай все хорошо.

– Я всегда работаю на совесть, – заявил Рой. – Когда закончу – не узнаешь свою старую мебель.

– А ты, – обратилась к Джону мать, – будь умницей, подмети гостиную и протри пыль. Я собираюсь навести там порядок.

– Ладно, ма, – кивнул Джон и встал. Да, она забыла про день рождения. А он ни за что не напомним. Надо просто перестать об этом думать.

Подмести гостиную означало в основном почистить тяжелый, красный с зеленым и фиолетовым ковер в восточном стиле. Прежде он был украшением комнаты, теперь же так полинял, что стал непонятного цвета, и еще обтрепался до такой степени, что цеплялся за швабру. Джон терпеть не мог возиться с ковром – сразу поднималась пыль, она лезла в нос, налипала на потную кожу, и он чувствовал: сколько ни мети, клубы пыли не уменьшатся, а ковер не станет чище. Джон воображал, будто это нереальная задача, ее и за жизнь не выполнишь, – ниспосланное ему испытание, подобное тому, какое – он где-то читал – было у человека, которому приходилось изо дня в день толкать в гору большой камень. На вершине горы находился великан, который тут же сталкивал камень вниз. И так продолжалось вечно, так что несчастный и сейчас где-то на другом конце земли катил вверх свой камень. Джон жалел его от всего сердца, потому что самое долгое и тяжелое задание, выпадавшее ему каждое субботнее утро, было путешествие со шваброй по бесконечному ковру. Добравшись до застекленных дверей, где заканчивалась гостиная, он чувствовал себя, как измученный путешественник, наконец увидевший родной дом. Однако на каждый совок грязи, выгружаемый у дверного порога, находились – не без помощи злых сил – двадцать новых. Поскольку пыль оседала снова на ковер; он в раздражении стискивал зубы, потому что пыль заполняла рот, и чуть не плакал, видя, какие ничтожные результаты приносят его труды.

Впрочем, на этом труды Джона не закончились. Убрав швабру и совок, он вынул из-под раковины небольшое ведерко, сухую тряпку, масло для мебели, мокрую тряпку и вернулся в гостиную, чтобы попытаться избавиться от пыли, угрожавшей поглотить их всех вместе с нажитым добром. Размышляя с горечью о своем дне рождения, Джон стал яростно оттирать зеркало, глядя, как словно из облака проступает его лицо. С удивлением подумал, что лицо не изменилось – знак сатаны пока был незаметен. Отец всегда говорил, что у него лицо сатаны – а может, и правда было нечто необычное в этих вздернутых бровях, в том, что жесткие волосы образовывали на лбу знак V? И в выражении глаз не было света Небесного, и чувственный,

почти непристойный рот, казалось, готовился испить вина в преисподней. Он всматривался в свое лицо, словно то было лицо незнакомца, знавшего секреты, неведомые Джону. Пытался глядеть на него чужими глазами, стараясь понять, что видят в этом лице другие люди. Но видел его только отдельными фрагментами: большие глаза, широкий низкий лоб, треугольный нос, крупный рот и слегка раздвоенный подбородок – по словам отца, след мизинца сатаны. Но эти детали не складывались воедино, и он по-прежнему оставался в неведении, не зная, какое у него лицо – красивое или уродливое?

Джон перевел взгляд на каминную полку и стал брать украшавшие ее безделушки. Тут были самые разные вещицы – фотографии, поздравительные открытки, два серебряных подсвечника без свечей, зеленая металлическая змея в угрожающей позе. Из-за сегодняшней апатии Джон на самом деле их не видел, может, потому и особенно энергично протирал. Одно розово-голубое изречение состояло из выпуклых букв, из-за чего протирать его было особенно трудно:

«Приходи зимой иль летом,
Ждем тебя всегда с приветом.
Чаще будешь приходить,
Больше будем мы любить».

А другое – написано ярко-алыми буквами на золотом фоне:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную»³.

Эти два таких разных послания находились на противоположных краях полки, слегка затененные серебряными подсвечниками. А между ними лежали поздравительные открытки, приходившие каждый год на Рождество, Пасху и на дни рождения, полные радостных вестей, и тут же зеленая металлическая змея, вечно озлобленная, гордо вскидывала головку среди этих памятных подарков, дожидаясь момента, чтобы ужалить. Прислоненные к зеркалу стояли рядом фотографии.

Эти снимки стали чуть не антикварными вещами у семейства, вероятно, считавшего, что память должна сохраняться только о далеком прошлом. Фотографии Джона и Роя, а также двух девочек вроде бы нарушали этот неписанный закон, но в действительности они его только подтверждали: все фотографии были сделаны в период их младенчества – то есть в то время, которое они не могли помнить. Джон лежал голенький на белом покрывале, и люди смеялись и находили фотографию очаровательной. Но сам Джон, глядя на нее, испытывал стыд и раздражение от того, что его нагота так бесстыдно обнажена. Он единственный из детей был раздет. Рой лежал в колыбельке в белой рубашечке и улыбался в объектив беззубым ртом. На Саре, серьезной уже в шестимесячном возрасте, был беленький чепчик, а Руфь сидела на руках у матери. Глядя на эти фотографии, люди тоже смеялись, однако их смех отличался от того, с каким они смотрели на маленького Джона. Когда гости пытались подшучивать над ним, Джон замыкался и молчал, а те, считая, что почему-то ему не нравятся, делали вывод, что он мальчик «со странностями».

Был среди прочих и снимок тети Флоренс, сестры отца, в то время еще молодой женщины, только что перебравшейся на Север. Ее волосы были по-старомодному убраны наверх и стянуты лентой. Навещая их, тетка призывала эту фотографию в свидетели – вот какой хорошенькой она была в молодости! Стояла на полке и фотография матери – не та, что нравилась Джону и которую он видел лишь однажды, а сделанная сразу после замужества. Находилась

³ Евангелие от Иоанна. 3:16.

там и фотография отца во всем черном – он расположился на деревенском крыльце, сложив руки на коленях. День был солнечный, и яркий свет безжалостно подчеркивал плоскость его лица. Отец сидел напротив солнца, с поднятой головой, свет бил прямо в глаза, и хотя фотографию сделали, когда он был молод, лицо выглядело зрелым, и только одежда свидетельствовала о том, что снимок старый. Тетя Флоренс рассказывала, что в то время отец уже был проповедником и имел жену, которая сейчас на Небесах. Неудивительно, что отец уже тогда был проповедником – трудно представить его кем-либо еще, но вот то, что в те далекие времена он имел жену, было в высшей степени странно и наводило Джона на невеселые мысли.

Ведь останься она в живых, думал Джон, он никогда бы не родился, отец не приехал бы на Север и не встретил мать. Эта умершая много лет назад женщина-призрак по имени Дебора унесла с собой в могилу множество тайн, которые он хотел бы разгадать. Она знала отца в той жизни, где еще не было Джона, и в той стране, какую Джон не видел. Когда он был еще ничем, пылью, облаком, солнечным светом или струями дождя, когда о нем «еще не думали», как говорила мать, или когда он был «на Небесах с ангелами», как сказала тетя, та женщина уже знала отца и жила с ним в одном доме. Она любила его. И знала, что он всегда говорит одно и то же, когда гремит гром и молния рассекает небо: «Слышишь, это Господь с нами разговаривает». По утрам в той далекой стране Дебора видела, как отец поворачивается в кровати, открывает глаза, и смотрела в них. И ей не было страшно от его взгляда. Она видела, как крестили отца, он «брыкался и ревел, как мул», и видела, как он рыдал, когда умерла его мать; «тогда он был правильным молодым человеком», рассказывала тетя Флоренс. Из-за того, что эта женщина заглянула в отцовские глаза раньше, чем он, она знала то, что Джон уже никогда не узнает – чистоту его взгляда, в глубине которого еще не отражался Джон. Она могла бы сказать – если б он только мог спросить! – как сделать, чтобы отец полюбил его. Но теперь слишком поздно. Она не разомкнет уста до Судного дня. Но тогда среди множества голосов, в которые вольется и его тихий голос, Джону уже не нужно будет ее признание.

Закончив уборку и убедившись, что комната готова к воскресному дню, грязный и усталый Джон сел у окна в отцовское кресло. Улицы заливал холодный солнечный свет, яростный ветер гнал обрывки бумаги, замерзшую пыль, хлопал вывесками магазинов, стучал в двери церквей. Зима заканчивалась, и кучи снега, которые сгребли к бордюрам тротуаров, постепенно таяли и стекали в канавы. На сырых улицах мальчишки играли в стикбол. Одетые в теплые свитера и штаны, они носились с криками, гоня мяч, и тот – бац! – летел по воздуху после очередного удара палкой. На одном парне была ярко-красная спортивная вязаная шапочка со свисающей сзади кисточкой, которая победно взлетала всякий раз, как мальчуган подпрыгивал, чтобы ударить по мячу. Лучи солнца окрашивали лица ребят в медно-бронзовый цвет. Сквозь закрытое окно до Джона доносились их резкие, грубые голоса. Джону хотелось быть одним из них, так же беззаботно гонять мяч по улице, уверенно и изящно двигаться, но он знал, что это невозможно. Что ж, зато ему доступно другое – то, чего не дано уличным мальчишкам: он мог, по словам учителя, думать. Впрочем, эта способность приносила мало утешения – сегодня, например, мысли пугали его. Лучше бы оказаться с этими ребятами на улице, где можно не думать, загнав до усталости ненадежное, коварное тело.

Сейчас одиннадцать – через два часа вернется отец. Тогда они пообедают, потом отец встанет с ними на молитву, преподаст урок из Библии. Ближе к вечеру Джон пойдет убирать церковь, а после останется на вечернюю службу. Неожиданно на него накатил приступ неудержимой ярости, из глаз полились слезы. Наклонив голову, Джон стучал по стеклу кулаками и с горечью повторял: «Что мне делать? Что мне делать?»

Его позвала мать, и тут он вспомнил, что она стирает в кухне белье и, возможно, ей нужна помощь. Джон неохотно поднялся и направился в кухню. Мать стояла над тазом, ее руки были по локоть в мыльной пене, на лбу выступил пот. Фартук, на который пошел кусок от старой

простыни, промок в том месте, где соприкасался со стиральной доской. При появлении Джона мать вытерла руки краем фартука.

– Ты закончил, Джон? – спросила она.

– Да, мама, – ответил он, отметив ее странный взгляд, словно мать смотрела на чужого ребенка.

– Молодец, – похвалила она и улыбнулась робкой, вымученной улыбкой. – Ты ведь моя правая рука.

Никак, даже улыбкой, не отозвавшись на похвалу, Джон молча смотрел на мать, соображая, что от него теперь могут потребовать. Она повернулась, откинула мокрой рукой волосы со лба и подошла к буфету. Стоя к нему спиной, достала яркую декоративную вазу, цветы в которую ставили только по праздникам, и высыпала себе в ладонь то, что сейчас там находилось. Джон услышал звяканье монет – значит, его пошлют в магазин. Мать поставила вазу на место и, повернувшись к сыну, раскрыла ладонь.

– Я не спросила тебя, что ты хочешь на день рождения, – произнесла она. – Возьми вот это, сынок, пойди и купи себе, что захочешь.

Мать протянула ему теплые и мокрые монеты. Джон ощутил их приятную, гладкую поверхность, прикосновение материнской руки и поднял ничего не видящие от непонятного чувства глаза. Сердце его забило, ему захотелось прильнуть к мокрому фартуку матери и заплакать. Но он опустил голову и взглянул на ладонь, где лежали кучкой монеты.

– Не очень-то здесь много, – сказала она.

– Мне хватит. – Джон улыбнулся, а мать склонилась и поцеловала его в лоб.

– Ты станешь, – заговорила она, беря его за подбородок и отводя немного в сторону, – большим человеком. И очень хорошим, запомни это. Мама верит в тебя.

И Джон сообразил, что она чего-то не договаривает. Сегодня мать на каком-то особом языке сказала ему нечто, что он должен запомнить и осознать в будущем. Джон смотрел на мать, и сердце его переполняла любовь к ней и еще странная, пугавшая его боль.

– Да, мама, – кивнул он, надеясь, что она поймет, несмотря на невразумительность речи, всю глубину его страстного желания доставить ей радость.

– Я знаю, – сказала мать с улыбкой, облегчившей его душу, – есть многое, чего ты еще не понимаешь. Но ты не отчаивайся. В свое время Господь откроет тебе, что нужно. Только верь, Джонни, и Он поможет тебе. Все складывается к лучшему для тех, кто Его любит.

Джон слышал все это раньше – то были привычные слова матери, в отличие от слов отца: «Приведи в порядок дом свой», но он чувствовал, что сегодня они звучат иначе: мать старалась помочь ему, зная, что сын в беде. Беда была у них общая, но она никогда не расскажет ему об этом. И хотя Джон понимал, что они не заговорят об общих для них вещах – ведь тогда мать рассердится и перестанет его уважать, – новое знание о ней и свидетельство ее любви внесло в его мятущуюся душу реальность, которая пугала, и одновременно – достоинство, которое успокаивало. Он смутно чувствовал, что должен как-то утешить ее, и с удивлением услышал слова, слетевшие с его языка:

– Да, мама. Я постараюсь любить Бога.

При этих словах лицо матери поразительно изменилось, оно стало прекрасным и невыразимо печальным, будто она видела далеко за его спиной долгую, темную дорогу и бредущего по ней странника, которого всюду подстерегают опасности. Кто был этот странник? Он? Или она сама? А может, она думала о крестном пути Иисуса? Мать вернулась к стирке, но непонятная печаль так и осталась на ее лице.

– Тебе лучше уйти, пока не вернулся отец, – сказала она.

На любимом холме Джона в Центральном парке еще не растаял снег. Холм находился в центре парка, за круглым прудом, где за высокой проволочной оградой гуляли белые дамы в шубах, с большими собаками на поводках, или пожилые белые джентльмены, опирающиеся

на трости. Привычные очертания окружавших парк домов, но, скорее даже, инстинкт вывели Джона на выющуюся вверх тропу между деревьями, и через несколько минут он оказался на голом участке земли. Теперь оставалось преодолеть крутой откос, отсюда уже виднелись сверкающее небо, легкие облака вдали и рваная линия нью-йоркских небоскребов. Джон не знал, почему, но на этом месте его всегда охватывали возбуждение и ощущение силы, и он взбегал вверх по холму, словно у него внутри был мотор, или как безумец, готовый броситься вниз в сияющий под ним город.

Достигнув вершины, Джон остановился и так стоял некоторое время, опершись подбородком на руки, и глядел вниз. Здесь он чувствовал себя великаном, чей гнев мог разрушить город до основания, деспотом, способным раздавить его одним усилием ступни, долгожданным завоевателем, путь которого усеян цветами, и толпы людей восклицают: «Осанна!» Он будет самым могущественным, самым любимым помазанником Божиим и будет жить в этом сверкающем городе, который его предки видели в мечтах. Ведь город принадлежал ему, об этом говорили сами жители, и стоит только с громким криком сбегать вниз, как они обнимут его и покажут неведомые чудеса.

Однако Джон так и остался стоять на холме. Ему вспомнились люди, каких он встречал в этом городе, и в их глазах не было любви. Вспомнилась их быстрая и тяжелая поступь, темно-серая одежда, пустые, не замечающие его глаза – в лучшем случае горожане ухмылялись при встрече с ним. Вспомнились непрерывно мерцавшие над головой огни и ощущение себя полным чужаком. А потом Джон подумал об отце и матери, о простертых к нему руках, они хотели спасти его от этого города, где, по их словам, душу ждет погибель.

И действительно, разве не погибель хлупала под ногами прохожих, кричала из всех фонарей, вопила из каждой гигантской башни? Знаки сатаны горели на лицах людей у кино-театров и на огромных постерах, склонявших человека к греху. Рев этих обреченных несся по Бродвею, где автомобили, автобусы и спешащие куда-то прохожие ежеминутно подвергались смертельной опасности. Да, дорога к смерти была широкой⁴, и многие шли по ней, а дорога к вечной жизни была узкой, и мало кто ее находил. Однако сам Джон не стремился ступить на узкий путь, по которому двигался его народ. На этом пути не высились небоскребы, пронзавшие, казалось, неизменные облака; здесь скученно жались к грязной земле низенькие домишки; улицы, коридоры и комнаты были темные, а в воздухе витал неистребимый запах пыли, пота, мочи и домашнего джина. На этом узком – крестном – пути Джона ожидало лишь вечное унижение, а в будущем дом – такой же, как у его отца, такая же церковь и работа и такое же будущее, в котором он незаметно состарится и превратится в чернокожего старика, не знавшего ничего, кроме голода и работы. Этот крестный путь уже принес ему пустой желудок, согнул спину матери; никто в их семье никогда не носил хорошую одежду. Другое дело – здесь, где дома соперничают в могуществе с Богом, а мужчины и женщины не боятся Его гнева. Тут он мог бы есть и пить, сколько душе угодно, одеваться в роскошные ткани, приятные и на вид, и на ошупь. А его душа? Что будет с ней, когда он умрет и предстанет перед судом? Поможет ли ему тогда власть над городом? Стоит ли ради краткого наслаждения потерять вечное блаженство?

Но вечное блаженство трудно представить, а раскинувшийся перед ним город был реальным. В смущении Джон стоял на тающем снегу, а затем побежал с холма вниз. Ему казалось, будто он летит, и Джон подумал: «Я смогу снова взобраться. Если что, я всегда смогу взобраться снова». У подножия холма, где земля резко сменялась гравиевой дорожкой, он чуть не сбил с ног пожилого белого мужчину с седой бородой, который шел очень медленно, опираясь на трость. Оба в удивлении застыли, глядя друг на друга. Джон хотел извиниться, но ему мешало затрудненное дыхание. И тут старик улыбнулся. Джон улыбнулся в ответ. Словно

⁴ *Игра слов:* Бродвей в переводе с английского – «широкий путь».

оба знали один, только им двоим ведомый секрет. Старик двинулся дальше. Солнце заливало парк. На ветвях и стволах деревьев лед медленно подтаивал под бледными, но жгучими солнечными лучами.

Джон вышел из парка на Пятую авеню, где, как всегда, вдоль края тротуара выстроились старомодные экипажи, кучера сидели на высоких сиденьях с закутанными пледом коленями или стояли группами по двое-трое около лошадей, потопывая ногами, куря трубки и болтая. Джон видел, как летом в этих экипажах катались люди, похожие на персонажей книг и фильмов, где все были одеты по старинке, а по ночам мчались по скользким, промерзшим дорогам, скрываясь от смертельно опасных врагов. «Оглянись, оглянись! – кричала прекрасная женщина с белокурыми локонами. – Не преследуют ли нас?» Насколько Джон помнил, ее ждал ужасный конец. Сейчас он смотрел на лошадей – крупных, гнедых, спокойных, переступавших блестящими копытами, и думал, каково это иметь собственного коня. Он назовет его Райдер, и по утрам, когда трава еще в росе, вскочив в седло, будет издали любоваться огромными, залитыми солнцем полями – его полями. Позади, в его доме, большом, просторном, совсем новом, жена, красавица, будет в это время готовить в кухне завтрак, и из трубы повалит дым, растворяясь в утреннем воздухе. Их дети будут звать Джона «папой», и он купит им на Рождество электрические поезда. Они с женой разведут индеек, коров, кур и гусей и помимо Райдера других лошадей. В баре у них будет полно – хоть залейся! – виски и вина. А еще будут автомобили. Но в какую они станут ходить церковь? И чему вечерами он будет учить детей? Джон смотрел вперед, вдоль Пятой авеню, по которой разгуливали элегантные женщины в меховых шубках, разглядывал витрины, где были выставлены шелковые платья, часы, кольца. Какую церковь посещают эти люди? Что происходит в их домах вечерами, когда они снимают шубы и шелковые платья, убирают драгоценности, ложатся в мягкие постели и перед сном вспоминают прошедший день? Читают ли они каждый вечер отрывок из Библии? Встают ли на колени для молитвы? Конечно, нет, ведь их мысли были не с Господом, и не Он озарял их путь. Они были в миру, принадлежали ему, и этот путь вел их напрямиком в ад.

Однако в школе некоторые из белых преподавателей были добры к Джону, и с трудом представлялось, чтобы они – такие приветливые и красивые – вечно горели в адском пламени. Однажды зимой, когда его долго не оставляла сильная простуда, учительница принесла ему бутылочку рыбьего жира, смешанного с густым сиропом для смягчения неприятного вкуса. То был действительно христианский акт милосердия. Джон пошел на поправку, и мать сказала, что Бог наградит эту женщину. Да, они были добрыми – Джон не сомневался в этом. Он завоевывает их внимание, и тогда его полюбят, станут уважать. Однако отец так не считал. «Все белые погрязли в грехах, – твердил он, – и Господь их накажет. Белым людям нельзя доверять, их речи лживы, и ни один из них никогда не полюбит нигера. А он, Джон, тоже нигер и скоро узнает, когда вырастет, какими жестокими бывают белые». Джон читал о том, как обращались белые люди с цветными на Юге, откуда приехали его родители. Цветных грабили, сжигали их дома, убивали – были случаи и похуже, говорил отец, но у него язык не повернется такое произносить. Джон читал, как цветных поджаривали на электрических стульях за проступки, которых они не совершали; как избивали дубинками во время беспорядков; как пытали в тюрьмах; как принимали на работу в последнюю очередь и первыми увольняли и выбрасывали за ворота.

На улице, по какой сейчас шел Джон, нигеры не жили, это было запрещено, и все же он шагал по ней. И никто ему не мешал. Однако осмелится ли он заглянуть в магазин, из которого только что вальяжно вышла белая женщина с большой круглой картонкой? Или в этот дом, где поблизости стоит белый охранник в красивой униформе? Джон знал, что не сделает этого – по крайней мере сегодня. И сразу послышался смех отца: «Не только сегодня! И завтра тоже». Для таких, как он, есть задняя дверь, черные лестницы, кухня или подвал. Этот мир не для него. Если он не верит, пусть бьется головой о стену, но скорее солнце померкнет, чем ему позволят

войти. После этих мыслей Джон видел по-иному и людей, и улицу, ему стало тут страшно, и он понял, что когда-нибудь возненавидит белых, если только Бог не смягчит его сердце.

С Пятой авеню Джон свернул на запад – в район кинотеатров. На Сорок второй улице не было той роскоши, что на предыдущей, но от этого она не становилась менее чужой. Джону нравилась улица, и дело было не в прохожих или магазинах, ему пришлось по душе каменные львы, охраняющие самое внушительное здание – Публичную библиотеку. Джон и не собирался войти в этот просторный дом, доверху набитый книгами, хотя имел на это право, поскольку состоял в Гарлемском библиотечном отделении, дающем право брать книги в любой городской библиотеке. Он никогда не пытался воспользоваться своим правом еще и потому, что понимал: в огромном здании должно быть множество коридоров и мраморных лестниц, в их лабиринте легко заблудиться и не найти нужную книгу. И тогда белые люди заметят, что он не привык к подобным помещениям и большому количеству книг, и станут смотреть на него с сочувствием. Но он обязательно придет сюда, когда прочитает все книги в своем районе – такое достижение придаст ему силы, и он без колебания посетит любое здание мира.

Люди, в большинстве своем мужчины, стояли, облокотившись на парапет в парке, окружавшем библиотеку, или разгуливали поблизости, порой наклоняясь, чтобы выпить воды из фонтанчика. Сизые голуби садились на головы львов либо на края фонтанов, неспешно разгуливали по дорожкам. Джон задержался у магазина «Вулворт», разглядывая в витринах конфеты и размышляя, какие купить, но так ничего и не купил: в магазине было полно народу, и он боялся, что продавщица не обратит на него внимания. Пройдя мимо продавца искусственных цветов, Джон пересек Шестую авеню, где находился ресторан быстрого питания «Автомат», торгующий фастфудом, стояли припаркованные такси, а в витринах магазинчиков можно было видеть грязные открытки и игрушки-розыгрыши. Но сегодня Джона это не интересовало. За Шестой авеню располагались кинотеатры, и здесь он внимательно изучил рекламу, стараясь понять, на какой фильм лучше пойти. Его внимание привлек огромный цветной постер с изображением полуголой женщины. Привалившись к дверному косяку, она ссорилась с блондином, в отчаянии смотревшим на улицу. Надпись над их головами гласила: «Такой дурак есть в каждой семье – и рядом всегда найдется соседка, которая его подберет». Джон решил посмотреть этот фильм, почувствовав жалость к глупому блондину – захотелось узнать больше о его несчастной судьбе.

Изучив цены на билеты, он протянул кассиру деньги и получил клочок бумаги, открывавшей ему двери кинотеатра. Джон не оглядывался, боясь, как бы кто-нибудь из церковной общины случайно не оказался поблизости, не выкрикнул его имя и не вытащил за шиворот из дверей. Он быстро прошел по устланному ковром холлу и остановился лишь для того, чтобы у него оторвали и швырнули в серебристую коробку половину билета, вернув ему вторую половину. Потом билетер открыл двери, ведущие в темный дворец, и, светя фонариком, проводил до его ряда. И даже тогда, протискиваясь сквозь лабиринт из коленей и ступней к своему месту, Джон не осмеливался дышать и, в робкой надежде на прощение за дерзость, не смотрел на экран. Джон оглядывался по сторонам, видя профили зрителей, изредка высвечивающиеся в темноте, которая представлялась ему тьмой ада. Он верил, что близится свет второго пришествия, когда разверзнется потолок и все узрят горящие огнем колесницы, восседающего на них грозного Бога и силы небесные. Джон вжался в сиденье, словно мог таким образом стать незаметным. И подумал: «Пока не время. Судный день еще не наступил» – и вот тогда услышал доносившиеся до него голоса несчастного парня и злой женщины, поднял голову и увидел экран.

Женщина была воплощение зла. Эта блондинка с бледным, нездоровым цветом лица раньше жила в Лондоне – городе в Англии, и, судя по одежде, жила там в прошлое время. Она кашляла, у нее был туберкулез, тяжелая болезнь, о которой Джон слышал. Кто-то в семье матери умер от него. У женщины было много мужчин, она курила сигареты и пила. Потом

познакомилась с этим молодым человеком, студентом, он полюбил ее всем сердцем, но она жестоко обращалась с ним. Молодой человек был инвалидом, и женщина смеялась над ним. Она тянула из него деньги и гуляла с другими мужчинами, а студенту постоянно лгала – он действительно был глуповат. Слабовольный и печальный, он мотался туда-сюда на экране, и скоро симпатия Джона полностью перешла на сторону вспыльчивой и несчастной женщины. Он понимал ее, когда она злилась, покачивая бедрами, когда откидывала голову и смеялась так заливисто, что, казалось, на ее шее лопнут вены. Эта маленькая женщина, которую трудно было назвать хорошенькой, ходила непристойной, развязной походкой по холодным, туманным улицам и словно говорила всему миру: «Поцелуйте меня в зад».

Ее нельзя было ни приручить, ни сломать, она равнодушно относилась к доброте и презрению, к ненависти и любви. Никогда не пробовала молиться. Нельзя представить, чтобы она пала на колени и поползла по пыльному полу к алтарю, моля о прощении. Наверное, грех ее был так страшен, что простить его было невозможно, или гордыня была так велика, что женщина не нуждалась в прощении. Она упала с очень большой высоты, и падение это было впечатляющим из-за своей подлинности. Джон, сколько ни старался, не мог вызвать в своем сердце неприязнь к женщине и желание осудить ее. Напротив, ему хотелось быть на нее похожим – только еще более сильным, последовательным и жестоким. И заставить всех, кто желал ему зла, страдать, как женщина заставляла страдать студента, а когда они запросят пощады, рассмеяться в лицо. Сам он не станет просить о милосердии, ведь его боль будет острее. «Продолжай в том же духе, – прошептал Джон, когда на экране студент, видя непреклонность женщины, вздохнул и расплакался. – Продолжай». Наступит день, и он тоже заговорит так. Будет смотреть им в лицо и рассказывать, как сильно их ненавидит. Они заставили его страдать, а теперь он оплатит им той же монетой.

Однако, когда женщине пришла пора умирать, она выглядела хуже, чем того заслуживала. Джона насторожило выражение ее лица. Женщина напряженно смотрела вперед и вниз, словно опускала голову перед ветром более пронизывающим, чем тот, что бывает на земле. Она понимала, что ее несет туда, где ничто не поможет – ни гордыня, ни храбрость, ни вызывающая порочность. В том месте, куда она уходила, эти качества не имели цены, нужно было что-то еще, имени этого «чего-то» она не знала. Женщина заплакала, на ее порочном лице возникла детская обиженная гримаса, и оператор отвел от нее камеру, оставив дожидаться в грязной комнате встречи с Создателем.

Больше на экране женщина не появилась, но фильм продолжался. Студент женился на другой девушке – темноволосой и нежной, однако не такой обольстительной. Джон продолжал думать о блондинке и об ужасном ее конце. Не будь мысль столь богохульной, он решил бы, будто это Господь направил его в кинотеатр, чтобы показать, какова расплата за грехи.

Фильм наконец закончился, зрители зашевелились. Теперь начались новости. Белые девушки демонстрировали купальники, на ринге с ревом дрались боксеры, игроки в бейсбол, невредимые, бежали домой, президенты и короли разных стран, названия которых ничего не говорили Джону, быстро мелькали на мерцающем полотне. А он думал об аде, об искуплении грехов и мучительно пытался найти компромисс между дорогой, ведущей к жизни вечной, и той, что завершается геенной огненной. Но компромисса не было, поскольку Джона воспитали в истинной вере. Он не мог, подобно африканским дикарям, заявить, что не знает Евангелия. Отец, мать и другие верующие с ранних лет познакомили его с Божьей волей. И потому он либо выйдет из кинотеатра с твердым намерением больше сюда не возвращаться, оставив позади мир и его соблазны, его почести и славу, либо будет здесь с грешниками и разделит с ними неизбежное наказание. Положение было не из легких, и Джон заерзал в кресле, гоня от себя крамольную мысль, что со стороны Бога несправедливо ставить его перед таким трудным выбором.

Когда во второй половине дня Джон подходил к дому, оттуда опрометью выбежала маленькая Сара, пальто ее было расстегнуто, и она помчалась по улице к аптеке. В испуге он замер и какое-то время бессмысленно смотрел девочке вслед, соображая, что могло вызвать у нее столь сумасшедшую реакцию. Кстати, у Сары всегда было повышенное чувство ответственности, и каждое поручение она выполняла так, словно то был вопрос жизни и смерти. Однако в аптеку ее все-таки послали и, похоже, срочно – у матери даже не было времени застегнуть ей пальто.

На Джона накатила усталость. Если что-нибудь случилось, наверху его ждут неприятности, а ему хотелось их избежать. Конечно, может, у мамы просто заболела голова, вот она и послала Сару за аспирином. Но если так, значит, ему придется готовить ужин, смотреть за детьми и весь оставшийся день быть на глазах у отца. И Джон замедлил шаг.

На крыльце стояли мальчишки. Они видели, что Джон приближается к дому, а он, избегая их взглядов, непроизвольно стал старательно имитировать принятую в их среде развязную походку. Джон поднялся по выщербленным каменным ступеням и уже входил в дом, когда один мальчишка сказал: «А твоему брату сегодня крепко досталось».

Он в ужасе поднял голову, не осмеливаясь спрашивать подробности, но мальчишки тоже выглядели не лучшим образом – вид у них был такой, будто они участвовали в драке. И, судя по пристыженным физиономиям, победили явно не они. Джон увидел на пороге кровь, следы крови были и на кафельном полу холла. Посмотрев на мальчишек, которые по-прежнему следили за ним, он торопливо двинулся вверх по лестнице.

Дверь в квартиру была приоткрыта – ясно, ждут Сару. Джон тихо вошел внутрь, чувствуя подсознательное желание сбежать. В кухне горел свет, хотя там никого не было, – впрочем, свет горел во всей квартире. На кухонном столе стояла сумка с продуктами, из чего Джон заключил, что явилась тетя Флоренс. Тазик со стиркой все еще находился здесь, наполняя кухню кисловатым запахом.

На полу тоже были капли крови; размазанные кровавые следы остались и на лестнице.

Все это ужасно напугало Джона. Стоя посреди кухни, он пытался представить, что все-таки в его отсутствие произошло, и долго собирался с духом, прежде чем войти в гостиную, где находилась вся семья. Рой и раньше попадал в разные переделки, однако новая беда могла стать началом исполнения пророчества. Джон снял пальто, бросил его на стул и уже направился в гостиную, когда услышал быстрые шаги Сары на лестнице.

Девочка вихрем влетела в кухню, в руках она держала громоздкий пакет.

– Что случилось? – прошептал Джон.

Сара посмотрела на него удивленно, в ее взгляде была какая-то сумасшедшая радость. Джон в очередной раз подумал, что сестра ему не нравится. Отдышавшись, она выпалила с торжествующим видом: «Роя пырнули ножом!» – и побежала дальше, в гостиную.

Вот оно что. Роя пырнули ножом. Что бы это ни значило, ясно одно: сегодня отец будет невыносим, просто ужасен. И Джон медленно вошел в гостиную.

Отец и мать стояли на коленях перед диваном, на котором лежал Рой, между ними был тазик с водой, и отец смывал кровь со лба сына. Мать могла бы делать то же самое, только нежнее, однако отец ей не позволил – он не желал допустить, чтобы кто-то, кроме него, прикасался к раненому сыну. Мать лишь следила за его действиями, держа одну руку в воде, а другую со страдальческим видом – на талии, обмотанной все тем же импровизированным фартуком. Ее лицо переполняли боль и страх, а еще – с трудом сдерживаемое напряжение и жалость, которые она не смогла бы полностью передать, даже если бы заревела в голос. Отец бормотал какие-то бессвязные, ласковые слова, стараясь успокоить Роя, а у самого тряслись руки, когда он окунал тряпку в тазик и потом отжимал ее. В стороне стояла тетя Флоренс, она так и не сняла шляпку, а сумку держала в руках, в ужасе взирая на происходящее.

Сара влетела в комнату впереди брата, и мать, принимая из ее рук пакет, подняла голову и увидела Джона. Она ничего не сказала, однако бросила на него странный, быстрый взгляд, словно хотела о чем-то предупредить, но не имела возможности. Тетя Флоренс тоже посмотрела на Джона и сказала:

– А мы все думаем, где ты, сынок. Вот твой бедовый братец ушел погулять и попал в дурную историю.

По ее голосу Джон понял, что переполох был, похоже, преувеличенный. Значит, Рой не умрет. От сердца у него отлегло. Но тут к нему повернулся отец:

– Где тебя носило все это время? – рявкнул он. – Разве ты не знаешь, что нужен в доме?

Джон похолодел от страха – не столько от этих слов, сколько от выражения отцовского лица. Джон увидел то, чего не видел раньше – разве что в собственных мучительных фантазиях: дикий, безграничный страх, отчего лицо отца казалось моложе и одновременно – невыразимо старым и жестоким. Когда взгляд отца остановился на нем, Джон понял, что отец ненавидит его за то, что это не он оказался на месте Роя. Джон с трудом встретил этот взгляд, однако не сразу отвернулся, отчего мысленно похвалил себя, испытав нечто вроде триумфа, и в душе пожелал Рою смерти – пусть отцу станет еще хуже.

Мать развернула сверток и достала оттуда перекись водорода.

– Вот, – сказала она, открывая бутылочку, – лучше промой рану этим. Мать передала с непроницаемым лицом отцу перекись и салфетку, голос ее при этом звучал холодно и сухо.

– Сейчас немного пощиплет, – произнес отец совсем другим голосом – грустным и нежным! – потом, снова поворачиваясь к дивану: – Держись и будь мужчиной. Это быстро пройдет.

Джон следил за происходящим и, слушая отца, понимал, что ненавидит его. Рой застонал. Тетя Флоренс шагнула к камину и положила сумочку на полку рядом с металлической змеей. В соседней комнате захныкала малышка.

– Джон, будь умницей, пойдя и успокой девочку, – попросила мать. Ее уверенные руки были в постоянной работе – она открыла пузырек с йодом и теперь нарезала бинты.

Джон направился в спальню родителей и взял на руки плачущую мокрую сестренку. Как только Руфь почувствовала его руки, она сразу замолчала и посмотрела на брата широко раскрытыми, печальными глазками, словно понимала, что в доме беда. Джона рассмешил этот повзрослому серьезный взгляд – он очень любил свою маленькую сестренку – и, возвращаясь в гостиную, прошептал ей на ухо:

– Послушай, что скажет тебе старший брат, крошка. Как только встанешь на ноги, беги опрометью из этого дома, беги скорее!

Джон не понимал, зачем это сказал и куда ей надо бежать, но, проговорив эти слова, почувствовал себя лучше.

Входя в гостиную, он услышал голос отца:

– Мне придется кое о чем тебя спросить, женушка. Хотелось бы знать, как случилось, что ты позволила нашему сыну выйти на улицу, где его чуть не прибили.

– Нет, ты не станешь этого спрашивать! – вмешалась тетя Флоренс. – Не затевай сегодня ссору. Ты знаешь, черт возьми, что Рой никогда ни у кого не спрашивает позволения! Он просто идет и делает, что хочет. Не может ведь Элизабет посадить его на цепь. Она постоянно в домашних заботах, и не ее вина, что Рой такой же упрямый, как и его отец.

– У тебя язык, что помело, вечно суешься, куда не надо, – огрызнулся отец, не глядя на тетю Флоренс.

– Не моя вина, – продолжила она, – что ты родился дураком. Каким был, таким и останешься. Клянусь Богом, даже у Иова терпения на тебя не хватило бы.

– Я уже сказал, – раздраженно произнес отец, не прекращая обрабатывать рану скулящему Рою и готовясь смазать края йодом, – чтобы ты забыла к нам дорогу. Не смей говорить грязным языком при детях.

– Оставь в покое мой язык! – в запальчивости воскликнула тетя. – Лучше подумай о своей жизни. То, что они слышат, ни в какое сравнение не идет с тем, что они видят.

– Они видят бедного человека, который старается служить Господу, – пробормотал отец. – В этом – вся моя жизнь.

– Значит, твои дети сделают все возможное, чтобы избежать подобной жизни. Это я тебе обещаю. Попомни мои слова.

Отец повернулся к ней, перехватив взгляд, каким обменялись женщины. Мать по причинам, не имеющим ничего общего с отцовскими, тоже хотела, чтобы тетя Флоренс помалкивала. Отец усмехнулся и стал накладывать Рою на лоб повязку. Джон видел, как мать опустила голову и плотно сжала губы.

– Слава Богу, – наконец произнес отец, – что ему не выбили глаз. Только посмотри.

Мать склонилась над Роем, тревожно бормоча ободряющие, ласковые слова. Но Джон сообразил, что мать мгновенно оценила состояние глаза, поняла, что ущерба для жизни нет, и больше не волновалась за Роя. Она просто тянула время, готовясь к тому моменту, когда ярость мужа обрушится на нее.

Теперь отец обратил внимание на Джона, стоявшего у застекленной двери с малышкой на руках.

– А ну-ка, подойди сюда, парень, – велел он, – и посмотри, что сделали белые с твоим братом.

Джон приблизился к дивану, стараясь сохранять под отцовским гневным взглядом гордую осанку принца перед эшафотом.

– Ну, – и отец больно схватил его за руку, – смотри на своего брата!

В темных глазах лежащего Роя не было никакого выражения. Но по усталой, нетерпеливой складке юного рта Джон понял, что брат не хочет, чтобы он затаил на него обиду. Нет здесь ничьей вины – ни его, ни Джона, будто говорил взгляд Роя. Просто их отец – выживший из ума фанатик.

Наблюдая за отцом, можно было подумать, что перед ним грешник, которого из-за его мерзких дел следует заставить смотреть в пропасть, – отец даже слегка отодвинулся, чтобы рана Роя была лучше видна.

От середины лба, где начинались волосы, порез ножом (к счастью, не очень острым) тянулся к кости над левым глазом: рана напоминала неровный полумесяц и заканчивалась рваным, размытым «хвостом», изуродовавшим бровь мальчика. От времени этот полумесяц потемнеет и сольется с темной кожей Роя, а вот жестоко разорванная бровь не срастется. Это останется на лице навсегда, внося нечто насмешливое и зловещее в облик Роя. Джон чуть не расплылся в улыбке, но взгляд отца подавил это желание. Конечно, кровавая рана выглядела сейчас ужасно и, вероятно, пронеслось в голове у Джона, доставляла Рою страшную боль. Терпеливо переносивший эту пытку брат вызвал у Джона непроизвольное сочувствие. Он предположил, что тут поднялось, когда Рой, спотыкаясь, с залитыми кровью глазами явился в дом. Однако брат не умер, он все тот же, и, как только ему станет немного лучше, опять шмыгнет на улицу.

– Ты понял? – услышал он голос отца. – Его белые отмолили. Эти белые, которых ты так любишь, чуть не перерезали твоему брату горло.

Джона возмутило отцовское преувеличение: только слепой, пусть даже и белый человек, мог так неточно целиться в горло Роя, а мать спокойно и уверенно произнесла:

– Он тоже хотел их порезать. Вместе со своими друзьями-хулиганами.

– Вот именно, – поддержала ее тетя Флоренс. – Я не слышала, чтобы ты поинтересовался, как все случилось. Похоже, ты решил настроить брата против брата и заставить нас страдать, потому что у твоего любимчика неприятности.

– Я ведь попросил тебя заткнуться! – выкрикнул отец. – Не вмешивайся не в свое дело. Это моя семья и мой дом. Хочешь получить по физиономии?

– Только попробуй, – сказала тетя, и в ее спокойствии ощущалась ярость не меньшая, чем в вопле отца. – Обещаю, что больше тебе никогда не захочется этого делать.

– Успокойтесь, – попросила мать, вставая. – Ничему уже не поможешь. Что сделано, то сделано. Нужно на коленях возблагодарить Господа, что не случилось худшего.

– Аминь, – кивнула тетя Флоренс. – А теперь вразуми этого глупого ниггера.

– Да, вразуми своего глупого сына, – обратился отец со злобой к матери, решив не обращать внимания на слова сестры. – Того, что стоит здесь. Скажи, что Господь его предупреждает. Вот как белые поступают с чернокожими. Я говорил это не раз, теперь сами видите.

– Господь его предупреждает? – задохнулась от возмущения тетя Флоренс. – Его предупреждает? Габриэл, ты в своем уме? Ведь это не он отправился на другой конец города драться с белыми мальчишками! А тот, что лежит на диване. Это он сознательно со своими друзьями поехал в Уэст-Сайд, намереваясь затеять драку. Ума не приложу, что творится в твоей голове.

– Ты хорошо знаешь, – продолжила мать, глядя на отца, – что Джонни не гуляет с такими мальчишками, как дружки Роя. Ты много раз лупил здесь Роя за то, что он водит дружбу с плохими ребятами. Рой сам виноват, что натворил такое, чего нельзя делать, и давайте покончим с этим. Благодарю Бога, что твой сын остался жив.

– При твоей заботе он мог бы и ноги протянуть, – заметил отец. – Не похоже, что тебя беспокоит, жив он или нет.

– О Боже, – простонала тетя Флоренс.

– Он и мой сын! – воскликнула мать. – Я носила его в себе девять месяцев и знаю так же хорошо, как и его отца. Он – твоя копия. И вот еще что. У тебя нет права так со мной обращаться.

– Думаю, ты знаешь, – проговорил отец, тяжело дыша, – все о материнской любви. Ты объяснишь мне, как может женщина целый день сидеть дома и в то же время допустить, чтобы ее собственная плоть и кровь, ее сын, скитался неведомо где и его чуть не зарезали. И не уверяй, будто не можешь остановить его, потому что я помню свою мать, да упокоится ее душа. Она нашла бы, что сделать.

– Она и моя мать тоже, – заметила тетя Флоренс, – и я, в отличие от тебя, хорошо помню, как тебя часто приносили домой полумертвого. Мама не знала, как поступить. У нее руки устали драть тебя, как устают они и у тебя, когда ты учишь своего сына.

– У тебя язык без костей! – заявил отец.

– Я не делаю ничего плохого, – возразила тетя Флоренс, – просто пытаюсь достучаться до твоей большой, глупой, черной, упрямой башки. Не надо обвинять во всех грехах Элизабет. Лучше на себя посмотри.

– Успокойся, Флоренс. Все в порядке, – сказала мать. – Забудем об этом.

– Каждый день, – бушевал отец, – я выхожу из этого дома и работаю, чтобы детям было что есть. И разве у меня нет права просить мать моих детей присмотреть за ними, чтобы они не свернули себе шеи, пока меня нет дома?

– У тебя есть только один ребенок, – произнесла мать, – который может выйти из дома и свернуть себе шею, и это Рой. И я не представляю, как можно требовать, чтобы я вела этот дом, ухаживала за детьми и бегала по всему кварталу за Роем. Я не могу с ним сладить. Я тебе об этом уже говорила, да ты и сам не в силах с ним сладить. Ты не знаешь, что делать с этим мальчиком, и поэтому постоянно перекалываешь вину на меня. Не надо никого винить, Габриэл. Просто моли Бога, чтобы сын образумился, пока кто-нибудь не всадил в него нож и не убил.

Последовала напряженная минута, отец и мать смотрели друг на друга. У матери был испуганный, умоляющий взгляд. Затем отец размахнулся и изо всей силы влепил ей пощечину.

Она покачнулась, прикрыв лицо тощей рукой, и тетя Флоренс бросилась к ней, чтобы поддержать. Сара жадно следила за происходящим. Рой сел на диване и дрожащим голосом произнес:

– Не смей бить маму. Это моя мать. Только попробуй еще раз ее ударить, черный ублюдок, и, клянусь, я убью тебя.

Эти слова буквально заполнили комнату и на долю секунды повисли в воздухе, как мгновенная вспышка перед взрывом, и в этот момент взгляды Джона и отца пересеклись. Наверное, отец решил, будто эти слова исходят от него? В глазах отца мелькали безумие и злость, рот болезненно перекосялся. И тогда в обрушившейся после слов Роя тишине Джон понял, что отец его не видит, вообще, не видит ничего и никого, если это только не призрак. Джону захотелось бежать отсюда со всех ног, словно он оказался в джунглях, где встретил страшного, изголодавшегося зверя, приготовившегося к прыжку, глаза которого пылают адским огнем. Но Джон не мог сдвинуться с места, как бывает, когда неожиданно за поворотом замечаешь последствия аварии. Отец повернулся и посмотрел на Роя.

– Что ты сказал? – спросил он.

– Я сказал, чтобы ты оставил в покое мою мать, – ответил Рой.

– Ты оскорбил меня!

– Габриэл, – взмолилась мать, – Габриэл, давай помолимся...

Отец стал расстегивать ремень. Его глаза наполнились слезами.

– Габриэл! – крикнула тетя Флоренс. – Перестань валять дурака. Угомонись.

Отец размахнулся, и ремень со свистом обрушился на Роя, тот задрожал и упал на диван лицом к стене, но не издал ни звука. Ремень взвивался снова и снова, рассекая со свистом воздух и жала тело брата. Маленькая Руфь заплакала.

– Бог мой, Бог мой, – шептал отец. – Бог мой! Бог мой!

Он опять замахнулся, но тетя Флоренс перехватила ремень и не отпускала. Мать сразу бросилась к дивану, обняла Роя и закричала – такого страшного крика Джон прежде не слышал. Ни женского, ни какого другого. Рой обхватил шею матери и прижался к ней, будто утопающий.

Тетя Флоренс и отец смотрели в упор друг на друга.

– Ты родился бешеным, – сказала тетя Флоренс, – бешеным и помрешь. Только не надо тащить за собой остальных. Ты ничего не изменишь, Габриэл. Пора уже это понять.

Джон открыл церковь отцовским ключом в шесть часов. Вечерняя служба официально начиналась в восемь, но могла состояться и раньше, если Богу было угодно, чтобы кто-то из верующих пришел в церковь и встал на молитву. Однако мало кто появлялся раньше половины девятого, и Святой дух снисходительно относился к этому, давая возможность прихожанам сделать субботние закупки, убрать квартиры и уложить спать маленьких детей.

Закрыв за собой дверь, Джон стоял в узком проходе, слыша доносившиеся с улицы голоса играющих детей и голоса более грубые – старших родственников, их крики и ругань. В церкви было темно; день клонился к вечеру, и на многолюдной улице зажгли фонари. Ноги его словно приросли к деревянному полу, двигаться не хотелось. На Джона давили церковные тишина и темнота – холодные, как правосудие, а голоса извне казались звуками из другого мира. Однако Джон пошел вперед, слыша, как скрипит под его ногами просевший пол, направляясь туда, где позолоченный крест мерцал тлеющим огнем на алом алтарном покрывале, и там повернул наконец выключатель. Лампочка тускло осветила помещение.

Воздух пропитывал вечный густой запах пыли и пота. Здешнюю пыль невозможно было искоренить, как и ковровую – дома, в гостиной. Когда прихожане молились или бурно изливали радость в танцах, от их тел исходил резкий, чувственный запах – смесь пота и влажной, накрахмаленной белой ткани. Насколько Джон помнил, церковь всегда располагалась на первом этаже бывшего магазина, стоявшего на углу улицы с плохой репутацией, напротив больницы, куда почти каждую ночь привозили раненых или умирающих нарушителей закона. В

свое время верующие арендовали это пустое помещение, избавились от посторонних вещей, покрасили стены и сбили кафедру, внесли пианино, складные стулья и купили самую большую Библию, какую нашли. Через всю витрину написали красками «Храм Крещения Огнем», а изнутри повесили на нее белые шторы. Так церковь начала творить Божье дело.

Все произошло по промыслу Божьему: к двум-трем энтузиастам присоединились еще несколько, они привели других, и так создалась община. Из этого центра, будь на то Господня воля, могли пойти ответвления, и тогда в городе и в окрестностях развернулась бы большая, богатая работа. В истории церкви были миссионеры, духовные наставники и проповедники, которые отправлялись в другие части страны распространять евангельские заветы и открывать новые церкви – в Филадельфии, Джорджии, Бостоне или Бруклине. Они шли туда, куда вел их Господь. Иногда кто-нибудь возвращался, чтобы поведать о чудесах. Время от времени в одно из воскресений прихожане посещали ближайшую церковь братства.

Еще до рождения Джона отец тоже был странствующим проповедником, но теперь, когда ему приходилось кормить семью, редко уезжал дальше Филадельфии. Отец не проводил праздничные службы, как прежде, когда его имя было на плакатах, извещавших о собрании верующих. В прошлом отец был очень известен, но все изменилось после того, как он уехал с Юга. Наверное, ему следовало бы открыть свою церковь (интересно, хотел бы этого отец, задался вопросом Джон), и тогда он мог бы, как отец Джеймс, вести свою паству к Свету. Однако отец был в церкви лишь кем-то вроде зрителя – заменял отслужившие срок электрические лампы, следил за чистотой помещения и за сохранностью Библий и книг с церковными гимнами, а также за плакатами на стенах. Впрочем, по пятницам он вел службы вместе с молодыми священниками и участвовал в проповедях. В воскресных утренних службах отец редко принимал участие – только в тех случаях, когда отсутствовали другие священники. Он был церковным «мастером на все руки», вечным помощником.

Джон видел, что к отцу относятся с уважением. Никто никогда ни в чем не обвинил, не упрекнул отца, не подверг сомнению чистоту его жизни. И, тем не менее, этот человек, служитель Господа, ударил мать, и Джону хотелось убить его. И это желание не пропало до сих пор.

Джон уже подмел половину церкви, хотя сваленные горкой стулья по-прежнему оставались перед алтарем, когда в дверь постучали. На пороге стоял Илайша, он пришел помочь ему.

– Хвала Господу, – произнес Илайша, широко улыбаясь.

– Хвала Господу, – ответил Джон. Такое приветствие было принято в их церкви.

С силой захлопнув дверь, брат Илайша, громко топая, вошел внутрь храма. Похоже, он явился после баскетбола: на лбу блестели капельки пота, волосы были взлохмачены. Под зеленым шерстяным свитером с эмблемой школы – расстегнутая у ворота рубашка.

– Тебе не холодно? – спросил Джон, оглядывая Илайшу.

– Нет, братишка. Не все такие неженки, как ты.

– На кладбище лежат не одни малолетки, – сказал Джон, чувствуя себя непривычно легко и свободно: Илайша поднял ему настроение.

Илайша, который направился по проходу в заднее помещение, вдруг повернулся и посмотрел на Джона удивленно и даже угрожающе.

– Ага, вижу, сегодня ты настроен посмеяться над братом Илайшей, но я постараюсь внести поправку в твои планы. Только подожди, дай мне руки помыть.

– Зачем мыть руки, если пришел сюда работать? Бери швабру, а в ведро налей воды и положи немного мыла.

– Только подумать, – проговорил Илайша, пуская воду в раковину и словно обращаясь к струе, – какой нахальный ниггер! Надеюсь, он не навлечет на себя беду языком. Если продолжит в том же духе, кто-нибудь может заехать ему в глаз.

Вздохнув, он стал намыливать руки.

– Я всю дорогу бежал сюда, чтобы он не надорвал себе животик, таская стулья, а меня встречают словами: «Налей в ведро воды». Нет, нигтеры совсем распустились. – Илайша замолчал и повернулся к Джону: – Где твои манеры, парень? Надо научиться вежливо разговаривать со старшими.

– Лучше берись скорее за швабру и ведро. Времени не так много.

– Значит, продолжаешь в том же духе. Придется тебя поучить уму-разуму.

Джон услышал, как Илайша пошел в туалет, а потом, перекрывая шум спускаемой воды, из заднего помещения раздался грохот.

– Что ты там творишь?

– Парень, оставь меня в покое. Я работаю.

– Ясно. – Джон отставил метлу и двинулся в заднюю комнату. Илайша пинком развалил кучу стульев, сложенных в углу, а теперь стоял над ними с гневным видом, держа в руках швабру.

– Говорил я тебе не ставить сюда швабру – до нее не докопаешься.

– Я с легкостью ее достаю. Ты просто неуклюжий.

Илайша отбросил швабру и кинулся на Джона. Сбив с ног, он оторвал его от пола и поднял, отчего у Джона перехватило дыхание, а Илайша между тем улыбался. Однако, когда Джон стал брыкаться и изворачиваться, эта улыбка сменилась жесткой гримасой. Обеими руками Джон отталкивал плечи Илайши, молотил по ним кулаками и пытался бить коленями в живот. Обычно такое противостояние быстро заканчивалось: Илайша – крупнее и сильнее Джона, вдобавок он был опытным борцом, но сегодня Джон не хотел сдаваться, а если уж до этого дойдет, намеревался заставить Илайшу дорого заплатить за победу. В сегодняшнюю борьбу он вложил всю силу, она была похожа на ненависть. Джон упирался, отбивался, изгибался, толкался, используя свой малый рост, чтобы измотать и вывести из равновесия противника, и в конце концов потные кулаки Илайши разжались. Положение было тупиковое. У Илайши не получалось покрепче обхватить Джона, а тот не мог высвободиться из его рук. Не прекращая борьбы, они крутились в узком помещении, и Джон задыхался от острого запаха пота противника. На лбу и на шее у Илайши вздулись вены, дыхание стало тяжелым и прерывистым, а выражение лица – еще более суровым. При виде этих перемен Джон исполнился радости. Они споткнулись о сваленные стулья, Илайша поскользнулся и разжал руки. Джон рухнул на пол, обхватив руками голову.

– Я не сделал тебе больно? – спросил Илайша.

Джон поднял голову.

– Мне? Нет. Я просто перевожу дыхание.

Илайша подошел к умывальнику и плеснул холодную воду себе на лицо и шею.

– Теперь мне пора начать уборку, – произнес он.

– Не я тебя остановил, между прочим. – Джон встал. Его ноги дрожали. Он взглянул на Илайшу, который вытирался полотенцем.

– Как-нибудь научишь меня бороться?

– Нет, парень, – засмеялся тот. – Не хочу с тобой бороться. Ты слишком сильный для меня. – И он стал наливать в огромное ведро горячую воду.

Джон вернулся на старое место и взялся за метлу. Илайша последовал за ним и принялся мыть пол около дверей. Джон все тщательно подмел и поднялся к кафедре, чтобы смахнуть пыль с трех похожих на троны красных кресел с белыми полотняными вставками на массивных подлокотниках и спинках. Кафедра, несомненно, царила в зале: деревянная платформа приподнимала ее над паствой, на аналое лежала Библия, перед которой стоял проповедник. С кафедры свисало красное алтарное покрывало с вышитым позолотой крестом и словами: «Иисус спасает». Кафедра являлась сакральным местом. На эту высоту мог подниматься только человек, отмеченный Божьей печатью.

Джон стер пыль с пианино и сел перед ним на табурет, дожидаясь, пока Илайша вымоет половину церкви, чтобы расставить там стулья. Вдруг Илайша произнес, не глядя на Джона:

– Парень, а не пора ли задуматься о душе?

– Пора, – ответил Джон со спокойствием, напугавшим его самого.

– Знаю, со стороны это кажется трудным делом, – продолжил Илайша, – особенно, когда ты молод. Но поверь мне, нигде не найдешь той радости, какую ощутишь в служении Богу.

Джон промолчал. Он тронул черную клавишу на пианино, и она издала глухой звук, похожий на отдаленный стук барабана.

– Не забывай, что, когда о высоком думаешь, тебя обуревают плотские желания. Твое сознание еще на уровне Адама, парень, и тебя не отпускают мысли о друзьях, ты хочешь вести такую же, как у них, жизнь, ходить в кино и, конечно, могу поклясться, мечтаешь о девушках, не так ли, Джонни? Естественно, мечтаешь. – И тебе не хочется отказываться от всего этого. Но, спасая человека, Господь выжигает из него огнем ветхого Адама, дарит ему новый разум и новое сердце, и тогда мирская жизнь перестает доставлять удовольствие – истинную радость дает ежедневное общение с Иисусом.

Джон, застыв от ужаса, смотрел на Илайшу. Он помнил, как тот стоял рядом с Эллой-Мэй – неужели Илайша забыл? – перед алтарем и отец Джеймс порицал его, говоря о грехе, живущем в плоти. Джон глядел на Илайшу, и его язык жгли вопросы, которые он никогда не задаст. Лицо Илайши было непроницаемо.

– Люди говорят, что служить Господу трудно, – продолжил Илайша, вновь склоняясь над шваброй, – но, поверь, труднее жить по правилам этого порочного мира, где много печали и мало радости, а потом после смерти идти прямо в ад. Вот это действительно тяжело. – Он повернулся к Джону: – Ты слышал, как дьявол разными способами заманивает людей, и те продают ему души?

– Да. – Голос Джона звучал почти сердито, он запутался в своих мыслях.

– В школе, где я учусь, есть девушки. – Илайша вымыл половину церковного пола и жестом показал Джону, что можно расставлять стулья. – Хорошие девушки, но их мысли не с Богом. Я пытаюсь им объяснить, что раскаиваться и сокрушаться в грехах надо не завтра, а сейчас. Они считают, что в молодости не следует забивать себе голову такими мыслями, настанет время, и им удастся со смертного одра прошмыгнуть в рай. Дорогие мои, говорю я, никто не ложится специально умирать. Люди уходят каждый день: сегодня ты жив, завтра – нет. Так вот, парень, они не знают, что делать со стариной Илайшей – ведь он не посещает кинотеатры, не танцует, не играет в карты и не ходит с ними под лестницу. – Он замолчал и взглянул на Джона, который беспомощно смотрел на него, не зная, что сказать. – А ведь некоторые из них по-настоящему привлекательные девушки, я хочу сказать – красивые, и если у тебя хватит сил не поддаться искушению, то ты спасен. Я им говорю: Иисус спас меня, и я надеюсь идти Его путем. И ни женщина, ни мужчина – никто не заставит меня изменить свой выбор. – Илайша улыбнулся и опустил голову. – В то воскресенье, когда отец Джеймс, поднявшись на кафедру, вызвал вперед меня и Эллу-Мэй, боясь, что мы можем согрешить, – не буду врать, парень, я был тогда очень зол на старика. А потом подумал, и Господь вразумил меня: а ведь он прав. У нас с Эллой-Мэй и в мыслях не было ничего плохого, однако дьявол не дремлет, и, когда он касается тебя, дыхание перехватывает. Внутри тебя все горит, и вроде ты должен что-то сделать, но не можешь. Сколько раз становился я на колени, плача и сокрушаясь перед Господом, с рыданиями, Джонни, призывая Иисуса. Только Его имя имеет власть над дьяволом. Вот что происходило со мной, пока грех не отступил. А что будет с тобой, парень? – Илайша посмотрел на Джона, который расставлял стулья. – Ты хочешь спастись?

– Не знаю.

– Не хочешь попробовать? Просто становись каждый день на колени и проси, чтобы Он помог тебе.

Джон молча отвернулся, окинув взглядом церковь, которая представилась ему большим, высоким полем, созревшим для жатвы. Он вспомнил Первое воскресенье⁵, Евхаристическое воскресенье, которое праздновалось недавно; тогда верующие – все в белом – ели тонкий, пресный еврейский хлеб (тело Христово) и пили красный виноградный сок (кровь Христову). Когда прихожане поднялись из-за стола, накрытого именно для праздничного дня, они разделились: женщины встали по одну сторону, мужчины – по другую. Два таза наполнили водой, чтобы можно было помыть друг другу ноги, как Христос велел своим ученикам. Все опустились на колени – женщины перед женщинами, мужчины перед мужчинами, каждый омыл и вытер ноги соседу. Брат Илайша преклонил колени перед отцом Джона. После окончания церемонии все целовали друг друга.

– Подумай над моими словами, – произнес с улыбкой Илайша.

Когда уборка закончилась, Илайша сел за пианино и стал играть. Джон опустился на стул в первом ряду и смотрел на него.

– Похоже, никто к нам не торопится, – проговорил он после недолгого молчания. Илайша, не обратив на него внимания, продолжал играть скорбный напев. – О Боже...

– Сейчас придут, – сказал он.

В дверь постучали. Илайша перестал играть. Джон пошел открывать. На пороге стояли две женщины: сестра Маккендлес и сестра Прайс.

– Хвала Господу, – воскликнули они.

– Хвала Господу, – отозвался Джон.

Женщины склонили головы, прижав к себе Библии. На них были черные тканевые пальто, которые они не снимали всю неделю, и потертые фетровые шляпки. Когда женщины входили, холод с улицы ворвался внутрь, и Джон поспешил закрыть дверь.

Илайша встал, и все опять воскликнули:

– Хвала Господу!

Женщины преклонили колени перед тем, как сесть на свои места, и приступили к молитве. Это тоже был ритуал. Перед началом службы каждому верующему следовало какое-то время побыть наедине с Богом. Джон следил за молящимися женщинами. Илайша вновь сел за пианино и заиграл все ту же скорбную мелодию. Женщины встали – сначала поднялась сестра Прайс, затем сестра Маккендлес – и огляделись.

– Так мы пришли первыми? – спросила сестра Прайс. У нее был тихий голос и темная с медным отливом кожа. Она была на несколько лет моложе сестры Маккендлес, одинокая женщина, которая, по ее словам, никогда не знала мужчины.

– Нет, сестра Прайс, – улыбнулся брат Илайша. – Первым появился брат Джонни. Сегодня мы с ним убрали церковь.

– У брата Джонни – большая сила веры, – промолвила сестра Маккендлес. – Бог уготовил ему особый путь, попомните мои слова.

Бывало (на самом деле не «бывало», а всякий раз, когда Господь показывал свою милость, говоря ее устами), слова сестры Маккендлес звучали как угрозы. Сегодня вечером она оставалась под впечатлением произнесенной ею вчера проповеди. Сестра Маккендлес была крупной женщиной, одной из самых больших и черных негритянок, созданных Богом, который награждал ее сильным голосом для пения и проповедей. Теперь ей предстояло отправиться проповедовать в другие приходы. Сестра Маккендлес говорила, что Господь давно призывал ее к действию, но, робкая от природы, она боялась возвыситься над людьми. Только после урока, который преподавал ей Господь перед этим самым алтарем, она осмелилась проповедовать еван-

⁵ Праздник, отмечаемый некоторыми христианскими конфессиями (евангельские христиане) в первое воскресенье каждого октября.

гельские заповеди. Сейчас была готова пуститься в путь. Не щадя себя, она громко возопиет, и голос ее прогремит, как труба на Сионе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.